

Пойдём за ним! Генрик Сенкевич

I

Кай Септим Цинна был римским патрицием. Молодость свою он провёл среди легионов, в суровой военной жизни, а потом возвратился в Рим, чтобы насладиться славой, роскошью и доходами с огромного, хотя отчасти и пошатнувшегося состояния. Сразу он набросился на всё и пресытился всем, что только мог дать гигантский город. Ночи он проводил за пирами в великолепных подгородных виллах; дни его проходили в упражнениях у ланистов, в разговорах с риторам, в банях, где велись различные диспуты и, вместе с тем, передавались сплетни из жизни города и большого света, в цирках, на ристалищах или состязаниях гладиаторов, посреди фракийских колдуний и чудных танцовщиц с островов Архипелага. Славный Лукулл приходился ему родным по матери, и Цинна унаследовал от него пристрастие к изысканным яствам. За его столом подавались греческие вина, устрицы из Неаполя и жирная понтийская саранча, душенная в меду. Всё, что было в Риме, должно было быть и у Цинны, от рыб Красного моря до белых куропаток с берегов Борисфена. Но благами жизни он пользовался не как жадный солдат, а как разборчивый патриций. Он навязал себе убеждение, а может быть убедился сам в пристрастия к произведениям искусства: к статуям, добываемым из-под развалин Коринфа, к эпилихниям из Аттики, к вазам Этрурии или мглистого Серикума, ко всем тем мелочам, которые наполняют пустоту патрицианской жизни. Цинна умел говорить о них, как знаток и любитель, с беззубыми старцами, которые, идя к столу, украшали свои лысины венками из роз, а после пиршества жевали цветы гелиотропа, чтобы сделать своё дыхание благовонным. Цинна также умел понять красоту Цицероновского периода, стих Горация или Овидия. Воспитанный ритором-афинянином, он мог бегло говорить по-гречески, знал на память целые эпизоды из «Илиады» и за чашей вина мог так долго петь песни Анакреона, пока не напьётся или не захрапит. Благодаря своему учителю, а также и другим риторам, он потёрся и около философии и познакомился с нею настолько, что понимал архитектуру разных умственных зданий, когда-то возведённых в Элладе и колониях, но, вместе с тем, он понимал и то, что теперь все они лежали в развалинах. Он лично знал многих стоиков, к которым питал неприязненные чувства, ибо считал их скорее за политическую партию и, кроме того, за нелюдимов, ненавидящих утехи жизни. Скептики часто сидели за его столом, разрушали, в промежутках между двумя яствами, целые философские системы и провозглашали, поднимая кратеры, наполненные вином, что наслаждение – это тщета, правда – что-то недостижимое, и что целью мудреца может быть единственно только мёртвый покой.

Всё это скользило мимо ушей Цинны, но в глубь не проникало. Он не исповедовал никаких мнений и не хотел иметь их. В образе Катона он видел сочетание великой твёрдости с великою глупостью, жизнь приравнивал в морю, на котором дуют ветры, куда захотят, а единственною мудростью считал искусство ставить свои паруса так, чтобы дуновение этих ветров двигало его ладью вперёд. Кроме того, он весьма ценил широкие свои плечи, здоровый желудок и прекрасную римскую голову с орлиным профилем. Он был уверен, что со всем этим можно кое-как прожить жизнь.

Не принадлежа в школе скептиков, он был скептиком в жизни и, вместе с тем, гедонистом, хотя и знал, что наслаждения не составляют ещё счастья. С истинным учением Эпикура он не был знаком, почему и считал себя за эпикурейца. Вообще, на философию он смотрел как на умственное ратоборство, одинаково хорошее, как и то, которому обучали ланисты. Когда разговор утомлял его, он шёл в цирк смотреть на льющуюся кровь.

В богов он не верил так же, как и в добродетель, и в правду, и счастье. Он верил

только в предсказания, имел свои предрассудки, и таинственные религии Востока возбуждали его любопытство. Для невольников он был добрым господином, если только временная скука не доводила его до жестокости. Он думал, что жизнь – это амфора, и чем лучшим сортом вина её наполнишь, тем бóльшую цену представляет она, и поэтому старался свою амфору наполнить наилучшим. Он не любил никого, но ему нравились многие вещи, между прочим – собственная голова с великолепным черепом и изящная, патрицианская нога.

В первые годы своей разгульной жизни он также любил дивить Рим своими причудами. Это ему удавалось несколько раз. А потому он и к этому сделался равнодушным.

II

В конце концов, он разорился. Имущество разобрали кредиторы, а Цинне осталось одно утомление, как будто после непосильного труда, пресыщение и ещё одна, совершенно неожиданная вещь, именно – какая-то глубокая тревога. Ведь наслаждался же он богатством, наслаждался любовью, – так, как понимал её тогдашний мир, – наслаждался роскошью, наслаждался воинскою славой, наслаждался опасностью, узнал, более или менее, пределы человеческой мысли, сталкивался с поэзией и искусством, – значит, мог судить, что взял из жизни всё, что могла дать она. А между тем теперь он испытывал такое ощущение, что как будто пренебрёг чем-то, и чем-то необычайно важным. Однако он не знал, что это такое, и тщетно ломал над этим голову. Не раз пробовал он отделаться от этих мыслей, стряхнуть с себя тревогу, пробовал уверить себя, что в жизни ничего больше нет и быть не может, но в это время его тревога, вместо того, чтобы уменьшиться, тотчас же возрастала до такой степени, что ему казалось, будто он тревожится не только за одного себя, но и за весь Рим. В одно и то же время он и завидовал скептикам, и считал их глупцами, ибо они утверждали, что ничто можно прекрасно наполнить ничем. В нём теперь жили как будто двое людей, из которых один изумлялся своей тревоге, а другой невольно признавал её совершенно основательною.

Вскоре после утраты состояния Цинна, благодаря всесильным родственным связям и влияниям, уехал править Александрией, куда его послали отчасти с тою целью, чтоб он в этом богатом краю мог нажить новое состояние. А тревога села вместе с ним на корабль в Брундизиуме и сопровождала его во время пути. Цинна думал, что в Александрии служебные обязанности, новые люди, иной мир, новые впечатления освободят его от докучливого спутника, и ошибся. Прошёл месяц, два, и как зерно Деметры, привезённое из Италии, всходит ещё роскошнее на плодородной почве Дельты, так и эта тревога из густого кустарника преобразилась в раскидистый кедр и начала бросать всё бóльшую и бóльшую тень на душу Цинны.

Вначале Цинна пробовал заглушить тревогу такую же жизнью, какую когда-то он вёл в Риме. Александрия была великолепным городом, изобилующим гречанками со светлыми волосами и нежным цветом лица, которое египетское солнце покрывало прозрачным янтарным загаром. И в объятиях этих гречанок Цинна искал успокоения.

Но когда и это оказалось тщетным, он стал думать о самоубийстве. Многие из его товарищей освободились от жизненных забот точно так же и по соображениям гораздо более ничтожным, чем соображения Цинны: часто от скуки, часто от внутренней пустоты, часто от неимения охоты пользоваться благами жизни. Когда невольник держал меч умело и крепко, достаточно было одной минуты. Цинна ухватился за эту мысль и уже решился было осуществить её на деле, как вдруг его удержал странный сон. Привиделось ему, что когда его перевозили через реку, он заметил на противоположном берегу и свою тревогу, в образе истомлённого раба, который поклонился ему и сказал: «Я пришёл раньше, чтобы встретить тебя». Цинна

испугался в первый раз в жизни; он понял, что если о загробной жизни он не может думать без тревоги, то и туда уйдёт вместе с нею.

В виде крайности, он решился сблизиться с мудрецами, которыми кишел Серапеум, думая, не найдёт ли хоть у них разрешения своей загадки. Мудрецы, правда, загадки разрешить не сумели, но зато величали Цинну «τοῦ μόνουτου», – титул, который придавался римлянам высокого рода и положения. На первый раз это была небольшая утеха, и титул мудреца, данный человеку, который не умел отвечать себе на то, что занимало его всего более, мог казаться Цинне иронией, но он всё думал, что Серапеум может быть не сразу раскрывает всю свою мудрость, и не терял надежды до конца.

Самым деятельным между мудрецами в Александрии был благородный Тимон-афинянин, человек значительный, римский гражданин. Несколько лет жил он в Александрии, куда прибыл для изучения таинственной египетской науки. О нём говорили, что не было ни одного пергамента или папируса в библиотеке, который бы он не прочитал, – говорили, что он обладает всю мудростью человеческой. Притом он был человеком кротким и проницательным. Среди множества педантов и комментаторов с затверделыми мозгами, Цинна сразу отличил его и вскоре завязал с ним знакомство, которое через некоторое время перешло в приязнь и даже в дружбу. Молодой римлянин удивлялся беглости в диалектике и красноречию, с которыми старец говорил о вещах возвышенных, касающихся назначения человека и мира. В особенности его поражало то, что рассуждения Тимона были соединены с какою-то грустью. Позже, когда они ещё более сблизились, Цинну разбирала охота спросить у старого мудреца о причине этой грусти, а вместе с тем открыт ему и своё сердце. Вскоре дело дошло до этого.

III

Однажды вечером, когда, после шумного разговора о загробном пути души, Цинна и Тимон остались вдвоём на террасе, откуда открывался вид на море, римлянин взял руку старца и исповедал перед ним, что было величайшею скорбью его жизни и ради чего он старался сблизиться с учёными и философами Серапеума.

– По крайней мере, – сказал он в конце, – я выиграл то, что сблизился с тобой, и теперь знаю, что если и ты не разрешишь загадки моей жизни, то и никому этого не удастся.

Тимон долго всматривался в расстилающееся перед ним зеркало вод, в котором отражался двурогий месяц, потом сказал:

– Видал ты те стаи птиц, которые прилетают сюда зимою из мрака севера? Знаешь ты, чего они ищут в Египте?

– Знаю. Тепла и света.

– Души людей тоже ищут тепла, которое есть не что иное как любовь, и света, который есть не что иное как правда. Но птицы знают, куда им лететь за сбоем благом, а души летают по бездорожью, в грусти и тревоге.

– Отчего же, благородный Тимон, они не могут отыскать дорогу?

– Прежде успокоение было в богах, теперь вера в богов выгорела, как елей в лампаде. Потом думали, что философия будет для душ солнцем правды, – ныне, как ты сам знаешь хорошо, на её развалинах и в Риме, и в академии в Афинах, и здесь

сидят скептики, которые думают, что они вносят спокойствие, а на самом деле внесли беспокойство. Ибо отречься от света и от тепла – это значит оставить душу во мраке, а мрак – это тревога. Итак, протянув руки вперед, будем ощупью искать выхода...

– Разве и ты не нашёл его?

– Искал и... не нашёл. Ты искал его в наслаждениях, я – в мышлении, и обоих нас окружает одинаковая мгла. Знай же, что ты не один страдаешь и что в тебе страдает душа мира. Давно ли ты уже не веришь в богов?

– В Риме их чтут всенародно и привозят даже новых из Азии и Египта, но искренно верят в них разве только скупщики зелени, которые утром приезжают из деревни в город.

– И те лишь только спокойны.

– Равно как и те, которые здесь бьют поклоны кошкам и луковицам.

– Равно как и те, которые, словно сытые звери, не жаждут ничего более, как только сна после насыщения.

– Но если это так, то сто́ит ли жить?

– А разве мы знаем, что нам принесёт смерть?

– Тогда какая же разница между тобой и скептиками?

– Скептики примиряются с мраком или показывают вид, что примиряются с ним, а я страдаю в нём.

– И не видишь избавления?

Тимон умолк на минуту, потом ответил медленно, как бы с некоторым колебанием:

– Я жду его.

– Откуда?

– Не знаю.

Потом он склонил голову на руку и, как бы под влиянием тишины, которая царила на террасе, заговорил тоже тихим голосом:

– Странная вещь, но по временам мне сдаётся, что если бы мир не вмещал в себе больше того, что мы знаем, и если бы мы не могли быть ничем большим, чем теперь, в нас не было бы тревоги... Итак, я в источнике болезни черпаю надежду на выздоровление... Вера в Олимп и философию умерла, но здоровьем может быть какая-нибудь новая правда, которую я не знаю.

.....

Против ожидания, эта беседа принесла Цинне огромное облегчение. Услышавши, что не только он один, но и весь мир болен, он испытал такое ощущение, как будто

кто-нибудь снял с него огромную тяжесть и разложил её на тысячи плеч.

IV

С некоторого времени приязнь, соединяющая Цинну со старым греком, стала ещё более тесною. Теперь они часто навещали друг друга и делились как мыслями, так и хлебом во время обеда. Наконец, Цинна, несмотря на свой жизненный опыт и утомление, идущее вслед за пресыщением, был настолько молод, чтобы жизнь не могла не приберечь для него какой-нибудь незнакомой приманки, а такую приманку он нашёл в единственной дочери Тимона – Антее.

Слава её в Александрии была не меньше славы её отца. Поклонялись ей благородные римляне, навещавшие дом Тимона, поклонялись греки, поклонялись философы из Серапеума, поклонялся народ. Тимон не запирает её в гинекей; как обыкновенно запирали других женщин, а, старался перелить в неё всё, что знал сам. Лишь только вышла она из детских лет, как он стал читать с нею книги греческие, даже римские и еврейские, ибо, одарённая необыкновенною памятью и возросшая в разноязычной Александрии, она легко научилась этим языкам. Она была товарищем отца по мыслям, часто принимала участие в беседах, которые во время симпозионов велись в доме Тимона, часто в лабиринте трудных вопросов умела, как Ариадна, найти дорогу одна и других вывести вместе с собою. Отец удивлялся ей и уважал её. Кроме того, её окружало обаяние таинственности и чуть не святости, потому что ей часто снились пророческие сны, когда она видела вещи невидимые для грубых очей смертных. Старый мудрец любил её, как собственную душу, ещё и потому, что боялся её утратить, – она часто говорила, что в снах ей появляются какие-то существа враждебные ей и какой-то дивный свет, о котором она не знает, будет ли он источником жизни или смерти.

А пока её окружала только одна любовь. Египтяне, которые бывали в доме Тимона, звали её Лотосом, может быть потому, что этот цветок пользовался божескими почестями на берегах Нила, а может и потому, что кто раз увидит Антею, тот забудет весь свет.

Ибо красота её равнялась её мудрости. Египетское солнце не опалило её лица, в котором розовые лучи рассвета, казалось, были замкнуты в прозрачную жемчужную раковину. Глаза её отражали лазурь Нила, а взгляд, казалось, выходил из таких же таинственных глубин, как и воды этой таинственной реки. Когда Цинна увидел и услышал её в первый раз, то, возвратясь домой, ощутил желание воздвигнуть ей алтарь в атриуме своего дома и посвятить ей в жертву белых голубей. В жизни он встречал тысячи женщин, начиная от девушек глубокого севера с белыми ресницами и волосами цвета созревшего хлеба, до чёрных, как лава, нумидиек, но до сих пор не встречал ни такого лица, ни такой души. И чем чаще он видел её, тем более узнавал, чем чаще приходилось ему внимать её словам, тем больше росло его изумление. По временам он, который не верил в богов, допускал, что Антея не может быть дочерью Тимона, что она дитя небес – на половину женщина, на половину бессмертная.

И вскоре он полюбил её любовью неожиданною, глубокою и непреодолимую, так не похожую на его прежние чувства, как Антея не была похожа на других женщин. Он хотел обладать ею только за тем, чтобы чтить её. Он готов был отдать всю свою кровь, чтобы только обладать ею. Он чувствовал, что предпочитал бы быть нищим, но только с нею, чем цезарем без неё. И как морской водоворот подхватывает с неудержимою силой всё, что попадает в его круг, так и любовь Цинны подхватила его душу, сердце, мысли, его дни, ночи и всё, из чего складывается жизнь.

Но потом любовь схватила в свои объятия и Антею.

– Tu felix, Cinna![1]- повторяли его приятели.

– Tu felix, Cinna! – повторял он сам себе, когда её божественные уста изрекли священные слова: «Где ты, Кай, там и я, Кайя», – тогда ему казалось, что счастье его будет как море – необозримое, безграничное.

V

Год миновал и молодая жена у своего очага пользовалась чуть не божескими почестями, – для мужа она была и зеницей ока, и любовью, и мудростью, и светом. Но Цинна, сравнивая своё счастье с морем, позабыл, что в море бывают и отливы. Через год Антея подверглась ужасной, неизвестной болезни. Сны её сменились страшными видениями, которые высасывали из неё жизнь. На лице её лучи рассвета угасли, осталась только прозрачность жемчужной раковины; руки её начинали просвечиваться, глаза впали, и розовый лотос всё больше и больше становился похожим на белый лотос, – такой белый, как лик умершего. Заметили, что над домом Цинны начали кружиться ястреба, а это в Египте считалось предвестием смерти. Видения Антеи становились всё более страшными. Когда в полуденные часы солнце заливало мир белым светом и город погружался в молчание, Антее казалось, что она слышит вокруг себя быстрые шаги каких-то невидимых существ, а в глубине воздуха видит сухое, желтоватое лицо трупа, смотрящее на неё чёрными глазами. Глаза эти всматривались в неё упорно, как бы призывая её идти куда-то, в какой-то мрак, полный таинственности.

Тогда тело Антеи начинало дрожать, как в лихорадке, чело покрывалось бледностью, каплями холодного пота, и эта боготворимая жрица домашнего очага обращалась в безоружного, испуганного ребёнка, прятала своё лицо на груди мужа и повторяла побелевшими устами: «Спаси меня, Кай, спаси меня!»

И Кай бросился бы на всякое видение, какое Персефона могла бы выпустить из недр земли, но тщетно смотрел он в пространство. Вокруг, как и всегда в полуденную пору, было пусто. Белый свет заливал город; море, казалось, горело на солнце, а в тишине слышался только писк ястребов, кружащихся над домом.

Видения становились всё более частыми, наконец стали повторяться ежедневно. Преследовали они Антею и вне дома, и в атриуме, и во внутренних комнатах. Цинна, по совету врачей, привёл египетских самбукинов и бедуинов с их глиняными пищалками, которые громкою музыкой должны были заглушить шум невидимых существ.

Но всё это было напрасно: Антея слышала этот шум среди самого громкого говора, а когда солнце стояло так высоко, что тень лежала у ног человека, как сброшенное с плеч платье, тогда в дрожащем от жара воздухе появлялось лицо трупа и, глядя своими стеклянными глазами на Антею, медленно отступало назад, как бы хотело сказать ей: «Иди за мной!»

VI

По временам Антее казалось, что уста трупа медленно шевелятся, а по временам она видела, как из них выползают чёрные, отвратительные жуки и летят по направлению к ней. При одной мысли о видении глаза её отражали чувство ужаса; в конце концов жизнь стала представляться такою цепью страшного мучения, что она начала просить Цинну, чтоб он подставил ей меч или позволил бы выпить яду.

Но он знал, что не будет в силах сделать это. Своим мечом он перерезал бы для

неё свои жилы, но убить её не может. Когда он представлял себе эту дорогую головку мёртвою, с замкнутыми ресницами, полную холодного спокойствия, эту грудь, пронзённую его мечом, то сознавал, что ему нужно сначала сойти с ума, чтобы сделать это.

Один греческий врач сказал ему, что это Геката представляется Антее, а невидимые существа, шелест которых так устрашает больную, принадлежат к свите зловещего божества. По его мнению, для Антеи не было спасения, ибо кто увидал Гекату, тот должен умереть. Тогда Цинна, который ещё так недавно смеялся над верою в Гекату, принёс ей в жертву гекатомбу. Но жертва не помогла, – и на следующий день суровые глаза так же неподвижно глядели на Антею.

Пробовали закрывать её голову, но она видела лицо трупа даже сквозь самое плотное покрывало. Когда она находилась в тёмной комнате, то лицо появлялось на стене и разгоняло окружающий мрак своим бледным, мертвенным светом.

Вечерами больной становилось лучше. Тогда она впадала в такой глубокий сон, что и Цинне, и Тимону не раз казалось, что она больше уже не проснётся. Наконец, она ослабела так, что уже не могла ходить без посторонней помощи. Её носили в носилках.

Прежняя тревога Цинны возросла сторицей и всецело охватила его. В нём жили и страх за жизнь Антеи, и, вместе с тем, странное чувство, что её болезнь состоит в какой-то таинственной связи со всем тем, о чём Цинна говорил во время своей первой откровенной беседы с Тимоном. Быть может и старый мудрец думал то же самое, но Цинна не хотел и боялся расспрашивать его. Тем временем больная увядала, как цветок, в чашечке которого поселился ядовитый гад.

Однако Цинна, вопреки отсутствию надежды, защищал Антею со всею силой отчаяния. Прежде всего, он увёз её в пустыню, в окрестности Мемфиса; но когда и пребывание под сенью пирамид не освободило её от страшных видений, то возвратился опять в Александрию и окружил жену ворожеями, колдунами, заговаривающими болезни, – целю толпой нахальных кудесников, пользующихся, при помощи таинственных средств, людским легковерием. Но у Цинны уже не было никакого выбора и он хватался за все средства.

В это время прибыл в Александрию из Цезареи славный врач, еврей Иосиф, сын Кузы. Цинна тотчас же привёл его к своей жене и вскоре надежда вновь озарила его сердце. Иосиф, который не верил в греческих и римских богов, с презрением отринул предположение о влиянии Гекаты. Он допускал, что скорее это демоны овладели больною, и советовал оставить Египет, где, кроме демонов, её здоровью могли вредить и болотистые испарения Дельты. Он советовал, может быть, потому, что сам был еврей, направиться в Иерусалим, в город, куда демонам нет доступа и в котором воздух сухой и здоровый.

Цинна тем охотнее последовал его совету, что, во-первых, другого исхода не представлялось, а во-вторых, Иерусалимом правил его знакомый, предки которого были когда-то клиентами дома Цинн.

И действительно, прокуратор Понтий принял их с распростёртыми объятиями и отдал в их распоряжение свой летний дом, находящийся вблизи городских стен.

Но надежды Цинны рассеялись ещё до прибытия в Иерусалим. Мёртвое лицо смотрело на Антею даже на палубе галеры, а по приезде на место больная ожидала

полуденного часа с той же самой смертельной тревогой, как и в Александрии.

И снова потекли их дни в унынии, страхе, отчаянии и ожидании смерти.

VII

В атриуме, несмотря на фонтан, тенистый портик и раннюю пору, было страшно жарко. Белый мрамор весь раскалился от весеннего солнца. К счастью, невдалеке от дома росло старое, раскидистое фисташковое дерево, осеняющее большое пространство. И ветерок на открытом месте дул от времени до времени. Туда Цинна и приказал поставить убранные гиацинтами и цветами яблони носилки, в которых покоилась Антея. Он сел возле неё, положил руку на, её бледные, как алебастр, руки и спросил:

– Хорошо тебе, дорогая?

– Хорошо, – ответила она еле слышным голосом и смежила очи, как будто бы ею овладевал сон. Воцарилось молчание, только ветер шелестел ветвями фисташкового дерева, а на земле, около носилок, мелькали золотые пятна солнечного луча, пробирающегося сквозь листву, и немолчно стрекотала саранча между серыми камнями.

Больная через минуту открыла глаза.

– Кай, – спросила она, – правда ли, что в этой земле появился философ, который исцеляет больных?

– Здесь таких людей называют пророками, – ответил Цинна. – Я слышал о нём и хотел его призвать к тебе, но оказалось, что это был лукавый кудесник. Притом, он извергал хулу против здешних святынь и верований этой страны. Прокуратор за это предал его на смерть и сегодня он должен быть распят.

Антея поникла головой.

– Тебя вылечит время, – сказал Цинна, видя грусть, которая отразилась на её лице.

– Время – слуга смерти, а не жизни, – медленно произнесла больная.

И снова наступило молчание, вокруг всё мигали и переливались золотистые пятна, саранча начинала стрекотать всё сильнее, а из расщелин скал выползали маленькие ящерицы и располагались на раскалённых камнях.

Цинна от времени до времени поглядывал на Антею, и в тысячный раз ему приходила в голову отчаянная мысль, что все средства спасения исчерпаны, что надежды нет уже никакой, и вскоре от боготворимого им существа останется только одна скоропреходящая тень, да горсть пепла в колумбариуме.

И теперь уже, лежащая с закрытыми глазами, в украшенных цветами носилках, она казалась мёртвою.

«И я пойду за тобой!» – мысленно повторял Цинна.

В это время вдали послышались чьи-то шаги.

Лицо Антеи стало бледно, как мел, полуоткрытые уста с жадностью вбирали воздух, грудь волновалась от учащённого дыхания. Бедная мученица была уверена, что это приближается толпа тех невидимых существ, которые предвещают приближение мёртвого лица со стеклянными глазами. Но Цинна схватил её за руку и старался успокоить.

– Антея, не бойся, эти шаги слышу и я.

И, немного спустя, он добавил:

– Это Понтий идёт к нам.

Действительно, на завороте тропинки показался прокуратор в сопровождении двух невольников. Это был человек уже не молодой, с круглым, тщательно выбритым лицом, носящим следы выработанного величия и, вместе с тем, неподдельной заботы и утомления.

– Привет тебе, благородный Цинна, и тебе, божественная Антея, – сказал он, вступая в тень фисташкового дерева. – После такой холодной ночи такой жаркий день... да будет он счастлив для вас обоих и да расцветёт снова здоровье Антеи, как эти гиацинты и цветы яблони, которые украшают её носилки.

– Привет и тебе. Здравствуй! – ответил Цинна.

Прокуратор сел на обломок скалы, посмотрел на Антею, едва-едва нахмурил брови и проговорил:

– Уединение порождает скуку и болезнь, – среди толпы нет места безотчётному страху. Поэтому я дам вам совет. К несчастью, здесь не Антиохия и не Цезарея, здесь нет ни игрищ, ни ристалищ, а если б основался цирк, то здешние фанатики разрушили бы его на другой день. Здесь только и слышно слово: «закон», а этому закону всё становится поперёк дороги. Я предпочитал бы жить лучше в Скифии, чем здесь...

– Что ты хочешь сказать, Пилат?

– Да, правда, я отступил от сути дела. Это заботы мои всему причиной. Я говорил, что среди толпы нет места безотчётному страху. И вот сегодня вы можете воспользоваться одним зрелищем. В Иерусалиме нужно довольствоваться малым, а главное – заботиться о том, чтобы в полуденное время Антея была посреди толпы. Сегодня три человека умрут на кресте. И это лучше, чем ничего. Притом, по случаю Пасхи, в город стекаются толпы самых странных оборванцев со всей страны. Вы можете сколько угодно любоваться на этот люд. Я прикажу вам дать отличное место около самых крестов. Я надеюсь, что осуждённые умрут храбро. Один из них, – странный он человек, – называет себя Сыном Божиим, кроток как голубь и, действительно, не совершил ничего такого, чтобы подвергнуться казни.

– И ты осудил его на крёстную смерть?

– Я хотел избежать разных неприятностей и, вместе с тем, не трогать гнезда ос, которые жужжат вокруг храма. Они и так шлют на меня жалобы в Рим. Наконец, дело ведь идёт не о римском гражданине.

– От этого осуждённый будет страдать не меньше.

Прокуратор не ответил и лишь через минуту заговорил как бы сам с собою:

– Есть одна вещь, которой я не переношу, это – крайность. Кто при мне произнесёт это слово, тот лишит меня весёлого расположения духа на целый день. Золотая середина – вот всё, чего моё благоразумие заставляет меня держаться. А на всей земле нет угла, где бы этого правила держались меньше, чем здесь. Как всё это мучит меня! Нигде не найдёшь ни спокойствия, ни равновесия... ни в людях, ни в природе... Теперь, например, весна, ночи холодные, а днём такой жар, что по камням ступать трудно. До полудня ещё далеко, а посмотрите, что делается вокруг! А что здесь за люди, так лучше и не говорить. Я здесь живу потому, что должен жить. Да не о том речь. Я снова отступил от дела. Идите смотреть на казнь. Я уверен, что этот Назарей будет умирать храбро. Я приказал его бичевать, думая, что таким образом спасу его от смерти. Я человек вовсе не жестокий. Когда его бичевали, он был терпелив, как агнец, и благословлял народ. Когда он обливался кровью, то возносил очи к небу и молился. Это самый удивительный человек, какого я видел во всю свою жизнь. Жена моя с тех пор не давала мне ни минуты покою: «Не допускай смерти невинного!» – вот что она твердила мне с самого утра. Я и хотел сделать так. Два раза я выходил из претории и обращался с речью к этим яростным первосвященникам, к этой презренной толпе. Они отвечали мне в один голос, запрокидывая назад голову и чуть не до ушей раздирая рот: «Распни его!»

– И ты уступил? – спросил Цинна.

– Иначе в городе были бы волнения, а я здесь для того, чтобы поддерживать спокойствие. Я не люблю крайностей и, кроме того, страшно измучен; но если раз возьмусь за что-нибудь, то, не колеблясь, пожертвую для общего блага жизнью одного человека, тем более, что это человек никому неизвестный, о котором никто не спросит. Тем хуже для него, что он не римлянин.

– Солнце не над одним только Римом светит! – ответила Антея.

– Божественная Антея, – ответил прокуратор, – я мог бы тебе отвечать, что по всей земле оно светит только римскому могуществу, поэтому для его пользы нужно посвящать всё, а волнения подкапывают наше влияние. Но, прежде всего, я умоляю тебя: не требуй, чтоб я изменил свой приговор. Цинна также может сказать тебе, что этого не может быть, – раз приговор произнесён, то только разве один цезарь может изменить его. Я, если б и хотел, не могу. Правда, Кай?

– Правда.

Но на Антею эти слова произвели, видимо, неблагоприятное впечатление. И она сказала, как бы про себя:

– Значит, можно страдать и умереть без вины.

– Безвиного человека нет на свете, – ответил Понтий. – Этот Назарей не совершил никакого преступления, а потому я, как прокуратор, умыл руки. Но, как человек, я осуждаю его учение. Я нарочно долго разговаривал с ним, хотел выпытать его и убедился, что он проповедует что-то неслыханное. Понять это очень трудно. Мир должен быть основан на разуме... Кто спорит, что добродетель необходима?.. Конечно, не я. Но ведь и стоики предписывают только со спокойствием встречать противоречивые мнения, но не требуют отрешения от всего, начиная с имущества и

кончая сегодняшним обедом. Скажи, Цинна, – ты человек рассудительный, – что бы ты подумал обо мне, если б этот дом, в котором вы живёте, я ни с того, ни с сего отдал тем оборванцам, которые греются на солнце где-то там, около Яффских ворот? А он-то собственно и требует этого. Притом, он говорит, что всех любить нужно одинаково: евреев так же, как римлян, римлян как египтян, египтян как африканцев, и так далее. Признаюсь тебе, этого мне было достаточно. В минуту, когда дело идёт об его жизни, он держит себя так, как будто речь идёт о ком-нибудь другом, поучает и... молится. На мне не лежит обязанности спасать кого-нибудь, кто сам о себе не заботится. Кто не умеет ни в чём сохранить чувства меры, тот человек неблагоприятный. Притом, он называет себя Сыном Божиим и колеблет основы, на которых стоит мир, – значит, вредит и людям. Пусть в душе он думает, что хочет, только бы не колебал основ. Как человек, я протестую против его учения. Если, скажем так, я не верю в богов, так это моё дело. Однако, я признаю необходимость религии, – говорю это всенародно, ибо думаю, что для народа религия – необходимая узда. Кони должны быть впряжены в колесницу, и хорошо впряжены... Наконец, этому Назарею смерть и не должна быть страшною: он утверждает, что воскреснет.

Цинна и Антея с изумлением переглянулись.

– Воскреснет?

– Ни более, ни менее – через три дня. Так, но крайней мере, гласят его ученики. Самого его я забыл спросить об этом. Наконец, это всё равно, потому что смерть избавляет от обещаний. А если б он и не воскрес, то ничего не потеряет, потому что, по его же учению, истинное счастье, вместе с вечною жизнью, начинается лишь после смерти. Он говорит об этом решительно, как человек совершенно убеждённый. В его гадесе светлее, чем в подсолнечном мире, и кто больше страдает здесь, тот вернее войдёт туда, – он должен только любить, любить и любить.

– Странное учение! – сказала Антея.

– А народ кричал тебе: «распни его»? – спросил Цинна.

– Я вовсе не удивляюсь этому. Душа этого народа – ненависть, а кто же, если не ненависть, станет требовать креста для любви?

Антея провела по лбу исхудалую рукой.

– И он уверен, что можно жить и быть счастливым после смерти?

– Поэтому-то его не страшит ни крест, ни смерть...

– Как бы это было хорошо, Кай!

И через минуту она опять спросила:

– Откуда он знает о том?

Прокуратор махнул рукой.

– Говорит, что знает это от Отца всех людей, который для евреев то же самое, что для нас Юпитер, с тою разницей, что, по словам Назарея, Он един и милосерд.

– Как бы это было хорошо, Кай! – повторила больная.

Цинна раскрыл рот, как будто хотел сказать что-то, но замолк и разговор прекратился. Понтий, вероятно, всё время думал о странном учении Назарея, кивал головой и поминутно пожимал плечами. Наконец, он встал и начал прощаться.

Вдруг Антея сказала:

– Кай, пойдём, посмотрим этого Назарея.

– Спешите, – добавил удаляющийся Пилат: – процессия скоро двинется.

VIII

День, с утра знойный и погожий, к полудню начал хмуриться. С северо-запада плыли тучи, тёмные или красновато-медного цвета, небольшие, но густые, словно чреватые грозой. Между ними просвечивала ещё глубокая лазурь неба, но можно было предвидеть, что тучи вскоре сольются и окутают весь горизонт. А пока солнце окаймляло их зазубрины огнём и золотом. Над самым городом и прилегающими к нему пригорками ещё расстилалась полоса ясного неба, внизу воздух стоял недвижною массой.

На высоком плоскогорье, называемом Голгофой, там и здесь стояли небольшие кучки людей, которые поспешили занять места раньше, чем процессия двинется из города. Солнце освещало широкое каменистое пространство, пустое, бесплодное и печальное. Общий однообразный, серовато-жемчужный тон нарушала только сеть расщелин и обрывов, тем более чёрная, чем более яркими лучами солнца освещалось плоскогорье. Вдали виднелись высокие холмы, также бесплодные, окутанные голубою дымкой дали.

Ниже, между стенами города и плоскогорьем Голгофы, лежала равнина, усеянная скалами, но уже не такая пустынная. Там, из расщелин, в которых скопилось сколько-нибудь плодородной земли, выглядывали фиги с редкими и жалкими листьями. И там, и здесь виднелись постройки с плоскими кровлями, прилепившиеся, словно гнёзда ласточек, к каменным стенам или сверкающие своею белизной гробницы. Ныне, по случаю приближающихся праздников и наплыва жителей провинции, около стен выросло множество шалашей и палаток, – целый табор, кишаций людьми и верблюдами.

Солнце поднималось всё выше по пространству неба, которое ещё не успели облечь тучи. Приближалось время, когда на этих высотах обыкновенно царило мёртвое молчание, ибо все живые существа искали убежища в стенах города или в расщелинах. Даже и теперь, несмотря на обычное оживление, какая-то грусть царила над этим пространством, где ослепительный блеск солнца падал не на зелень, а на серые каменные глыбы. Отголосок далёкого городского гомона, долетающий сюда, преображался точно в шум волн и, казалось, поглощался царящею вокруг тишиной.

Отдельные кучки людей, с утра поместившихся на Голгофе, то и дело обращались в городу, откуда процессия должна выступить если не сейчас, то через несколько минут. Появились носилки Антеи в сопровождении десятка солдат прокуратора, которые должны были пролагать дорогу среди народа, а до некоторой степени и охранять чужеземцев от оскорблений ненавидящей их фанатической толпы. Возле носилок шёл Цинна в сопровождении сотника Руфила.

Антея была как будто более покойна и менее встревожена тем, что приближался полдень, предвещающий появление страшных видений, которые высасывали из неё

жизнь. То, что прокуратор говорил о молодом Назарее, овладело её умом и отвлекло внимание от её болезни. В этом крылось что-то странное для неё, чего она почти не могла понять. Тогдашний мир видел многих людей, которые умирали так же спокойно, как гаснет погребальный костёр, когда дрова догорят дотла. Но то было спокойствие, истекающее из отваги или из философского примирения с неодолимою необходимостью перехода из света во мрак, из действительной жизни в какое-то существование мгlistое, неясное и неопределённое. Никто до сих пор смерти не благословлял, никто не умирал с непоколебимою уверенностью, что только лишь за костром или за гробом начинается истинное существование и счастье, такое великое и бесконечное, какое может дать только существо всемогущее и бесконечное.

А тот, которого сейчас должны предать распятию, провозглашал это как несомненную истину. Антею не только поразило это учение, но и показалось, вместе с тем, единственным источником утешения и надежды. Она знала, что должна умереть, и её охватывала неизмеримая скорбь. Чем представлялась ей смерть? – разлукой с Цинной, разлукой с отцом, разлукой со светом, с любовью, пустыней, холодом, полунебытием, мраком. Чем лучше могло ей быть в жизни, тем скорбь её должна быть сильнее. Если бы смерть могла ей на что-нибудь пригодиться, если бы можно было взять с собою хоть частицу воспоминания о любви, хоть память о счастье, то она нашла бы в себе силу покориться.

И вдруг, не ожидая от смерти ничего, она услышала, что смерть может дать ей всё. И кто же это проповедовал? Какой-то странный человек, учитель, пророк, философ, который внушал людям любовь, как величайшую добродетель, который благословлял их в минуту, когда они бичевали его, и которого сейчас распнут на кресте. И Антея думала: «Зачем же он так поучал, коль скоро крест является его единственною наградой? Одни жаждали власти, – он не хотел её, он остался убогим; другие – дворцов, пиров, роскоши, пурпурной одежды, колесниц, украшенных слоновою костью и перламутром, – он жил как пастырь среди стада. Он проповедовал любовь, сострадание, нищету, – не мог же он быть злым и умышленно обманывать людей. А если он говорил правду, то да будет благословенна смерть, как конец земного ничтожества, как обмен меньшего счастья на большее, как свет для гаснущих очей, как крылья, на которых возносятся в обитель вечной радости!..» Теперь Антея поняла, что значила проповедь воскресения.

Ум и сердце бедной больной всеми силами прилепились к этому учению. Она вспомнила слова отца, который неоднократно говорил, что только новая правда может извлечь истомлённую человеческую душу из мрака и отягощающих её уз. А это была новая правда. Она побеждала смерть, – значит, приносила спасение. Антея всем своим существом так погрузилась в эти мысли, что Цинна в первый раз за много-много дней не заметил на её лице признака тревоги перед приближающимся полуденным часом.

Процессия выступила из города к Голгофе, и с вышины, на которой стояли носилки Антеи, всё было видно до малейшей подробности. Толпа была огромная, но и она, казалось, таяла среди простора каменистой пустыни. Из открытых городских ворот выплывали всё новые и новые волны людей, а по дороге к ним присоединялись те, которые ожидали за воротами. По сторонам народного потока сновали рои детей. Процессия меняла свой цвет и пестрела белыми одеждами мужчин и красными и синими платками женщин. В середине сверкали мечи и копья римских воинов. Шум смешанных голосов доносился издали и становился всё более и более ясным.

Наконец процессия приблизилась, – первые ряды начали всходить на пригорок. Толпа спешила, чтобы занять место поближе, не пропустить ничего из подробностей казни,

вследствие чего отряд воинов, сопровождавших осуждённых, сильно отстал. Первыми появились дети, преимущественно мальчики, полунагие, перевязанные куском тряпки вокруг бёдер, с остриженными головами, за исключением двух локонов у висков, смуглые, с голубоватыми глазами и пронзительным говором. Посреди дикого гомона они начали вырывать из расщелин выветрившиеся обломки скал, чтобы потом было чем бросать в распятых. За детьми на пригорок хлынул первый отряд разнокалиберной толпы. Лица у всех горели от движения и от надежды на любопытное зрелище, но ни на одном не было и следа сострадания. Крикливые голоса, торопливость речи и резкость движений удивляли даже Антею, несмотря на то, что в Александрии она привыкла к болтливой и живой греческой толпе. Люди разговаривали между собою так, как будто были готовы броситься друг на друга, кричали так, как будто дело шло об их спасении.

Центурион Руфил подошёл к носилкам и давал объяснения спокойным, деловым тоном, а из города, между тем, наплывали всё новые и новые волны. В толпе виднелись зажиточные жители Иерусалима, которые держались в стороне от жалкой гольтёбы предместья. Появились и крестьяне, которых предстоящие праздники привлекли в город вместе с их семействами, землепашцы с котомками за плечами, добродушные и удивлённые пастухи в одеждах из козьей шкуры. Ряды женщин перемешивались с рядами мужчин; но так как более зажиточные горожанки неохотно выходили из дома, то здесь преимущественно были женщины из народа, крестьянки или пёстро разодетые прелестницы; с крашеными волосами, бровями и ногтями, щеголяющие широкими ожерельями из монет и далеко распространяющие запах нарда.

Наконец, появился и синедрион, – посреди него Анна; старик с лицом коршуна и красными веками, и тучный Каиафа в двурогой шапке с золочёною таблицей на груди. Вслед за ними шли разные фарисеи: волочащие ноги, которые умышленно натывались на ходу на разные препятствия, фарисеи с кровавыми лбами, которые также нарочно бились головой об стены, и сгорбленные, как будто готовые принять на свои плечи грехи всего народа. Угрюмая важность и холодная свирепость резко отличали их от шумливой толпы простого народа.

Цинна смотрел на всех проходящих с презрением человека, принадлежащего к правящему народу, Антея – с удивлением и опасением. Много евреев жило в Александрии, но там они казались наполовину греками, а теперь она в первый раз увидела их такими, какими они представлялись ей по словам прокуратора. Молодое лицо Антеи, на которое смерть уже наложила свою печать, её фигура, более похожая на тень, чем на живое существо, обращали на себя общее внимание. Толпа рассматривала её со всех сторон и так назойливо, насколько это допускали солдаты, охраняющие носилки. Ненависть и презрение к чужеземцам сказывались и здесь, – ни на одном лице не было видно сожаления к бедной больной, – в озлобленных глазах толпы сверкала скорее радость, что жертва болезни не избежит рокового конца. Антея только теперь поняла, почему эти люди требовали распятия пророка, который проповедовал любовь.

И этот Назарей вдруг показался ей кем-то близким, чуть ли не дорогим. Он должен был умереть, и она тоже. Его после произнесённого приговора уже ничто не могло спасти, – приговор произнесён и над нею, и Антее казалось, что их соединило братство несчастья и смерти. Только он шёл на крест с верою в посмертное завтра, а у ней этой веры не было и она пришла почерпнуть её из его примера.

Тем временем вдали шум усиливался, раздался свист, вой, потом всё сразу стихло. Послышалось бряцанье оружия и тяжёлые шаги легионеров. Толпа всколыхнулась, расступилась и отряд, сопровождавший осуждённых, поравнялся с носилками.

Впереди, по сторонам и сзади, ровным и медленным шагом шли солдаты, по середине видны были три перекладины крестов, которые, казалось, сами плыли в воздухе, потому что люди, несущие их, совсем сгибались под своею тяжестью. Легко можно было понять, что между этими тремя людьми не было Назарея, – лица двух осуждённых носили явные следы порока и преступления, третьего, немолодого уже, простого крестьянина, римские солдаты, вероятно, заставили нести крест за кого-то другого. Назарей шёл за крестами, в сопровождении двух стражников. Он шёл в пурпурном плаще, накинутом сверху одежды, а на голове его был терновый венец, из-под шипов которого показывались капли крови. Одни медленно стекали по его лицу, другие засыхали на челе, на подобие ягод дикого шиповника или зёрен коралловых чёток. Назарей был бледен и подвигался вперёд медленно, неверными, ослабевшими шагами. Он шёл среди издевательств толпы, как будто погружённый в задумчивость, заходящую за пределы видимого мира, словно уже оторванный от земли, не слыша криков ненависти, со всепрощением, переходящим меру человеческого прощения, с состраданием, превышающим меру человеческого сострадания, уже облечённый бесконечностью, вознесённый над уровнем земного зла, кроткий и скорбящий великою скорбью всего мира.

– Ты – Правда! – прошептала дрожащими устами Антея.

Процессия теперь как раз поравнялась с носилками и даже на одну минуту остановилась, потому что впереди солдаты силою прочищали себе дорогу. Антея видела теперь Назарея в нескольких шагах от себя, – видела, как ветерок играл прядями его волос, видела красноватый отблеск, падающий от плаща на его бледное, прозрачное лицо. Толпа, рвущаяся к нему, тесным кольцом окружила солдат, и они должны были сомкнуть свои луки, чтоб охранить осуждённого от ярости народа. Повсюду можно было видеть простёртые руки со стиснутыми кулаками, глаза, чуть не выходящие из орбит, сверкающие зубы, растрёпанные бороды, пенящиеся уста, извергающие проклятия. А он, оглянувшись вокруг, как будто хотел спросить: «Что я вам сделал?» – поднял глаза к небу и молился.

– Антея, Антея! – крикнул Цинна.

Но Антея, казалось, не слышала его зова. Из глаз её текли крупные слёзы, она забыла о своей болезни, забыла, что вот уже много дней не двигалась со своих носилок, – встала и, дрожащая, почти потерявшая сознание от жалости, сострадания и негодования на безумную толпу, начала срывать гиацинты и цветы яблони и бросать под стопы Назарея.

На минуту воцарилась тишина. Толпу охватило изумление при виде благородной римлянки, отдающей честь осуждённому. Он кинул взор на её бледное, болезненное лицо и уста его шевельнулись, точно он благословлял её. Антея снова опустилась на подушки носилок. Она чувствовала, что на неё изливается поток света, добра, милосердия, упования, счастья, и снова прошептала:

– Ты – Правда!

Потом новая волна слёз прихлынула к её глазам. Но осуждённого повели вперёд, на место, где в расщелине скал были уже укреплены три столба, которые должны были служить основаниями крестов. Толпа снова заслонила его, но место казни было выше общего уровня почвы и Антея вскоре вновь увидела его бледное лицо и терновый венец. Легионеры ещё раз пустили в ход свои палки, чтоб отогнать на приличное расстояние толпу, мешающую исполнению казни. Начали привязывать двух разбойников к боковым крестам. Третий крест стоял по середине, а на верхушке его была

прибита белая таблица, которую колебал всё более и более усиливающийся ветер. Когда солдаты, приблизившись к Назарею, стали снимать с него одежду, в толпе раздались крики: «Царь, царь! Не поддавайся, царь!.. Где же твои полчища?.. Защищайся!» По временам раздавались взрывы смеха; казалось, вся каменная площадка разражалась порывом могучего хохота. А осуждённого тем временем повергли навзничь на землю, чтобы прибить его руки к поперечине креста и потом, вместе с нею, поднять главный столб.

В это время какой-то человек, стоящий недалеко от носилок и одетый в белую сымарру, сыпал голову пылью и закричал ужасным, отчаянным голосом:

– Я был прокажённый, и он исцелил меня! Так это его распинают?

Лицо Антеи побледнело, как полотно.

– Он исцелил его... ты слышишь, Кай? – спросила она.

– Может быть ты хочешь возвратиться домой? – ответил Цинна.

– Нет. Я здесь останусь.

Цинну охватило, как вихрь, дикое и безграничное отчаяние, что он не догадался призвать в свой дом Назарея, дабы он исцелил Антею.

Но в это время солдаты, приставив к рукам Назарея гвозди, начали ударять по ним молотками. Послышался тупой стук железа о железо, который сменился более ясным звуком, когда острия гвоздей, пройдя сквозь тело, начали углубляться в дерево. Толпа снова утихла, утихла для того, чтобы насладиться стенаниями, какие муки могли извлечь из уст Назарея. Но он оставался безгласен, а на верхушке площадки раздавались только зловещие и страшные удары молота.

Наконец работа была окончена и тело казнимого вместе с поперечиной поднято кверху. Римский сотник певучим, однообразным голосом отдавал надлежащие распоряжения. Один из солдат начал прибавать к столбу стопы Назарея.

Облака, которые с утра клубились на небе, теперь закрыли солнце. Отдалённые пригорки и скалы, до сих пор горевшие нестерпимым блеском, сразу угасли. Свет начинал меркнуть. Зловещий медно-красный сумрак окутывал всю окрестность и сгущался всё более и более по мере того, как солнце глубже заходило за громады туч. Казалось, кто-то сверху сыплет на землю тяжёлую, подавляющую темноту. Жгучий ветер рванул раз, другой и потом стих. Воздух становился невыносимо душным.

Вдруг и эти красноватые отблески почернели. Угрюмые, как ночь, тучи огромными клубами начали надвигаться на народ и на площадку. Приближалась гроза... Всё дышало тревогой.

– Вернёмся домой! – снова сказал Цинна.

– Я ещё, ещё раз хочу видеть Его! – ответила Антея.

Мрак окутывал тела, висящие на крестах, и Цинна приказал перенести носилки своей жены ближе к месту казни. Антея подняла глаза. На тёмном дереве тело Распятого посреди окружающего мрака казалось сотканным из лучей месяца. Грудь Его

волновалась тяжёлым дыханием, но голова и очи всё ещё были обращены к небу.

В глубинах туч послышалось точно глухое рокотание. Гром проснулся, с оглушающим треском перекатился с востока на запад, потом, будто низвергаясь в бездонную пропасть, то стихал, то вновь усиливался и, наконец, ударил так, что земля потряслась в своём основании.

И сейчас же огромная синяя молния разорвала тучи, ярко озарила небо, землю, кресты, оружие воинов и сбившуюся вместе, как стадо овец, беспокойную, встревоженную толпу.

После молнии воцарилась ещё более глубокая темнота. Около носилок раздавались рыдания женщин, стоящих у креста, и было что-то поразительное в этом рыдании среди повсюду царящей тишины. Те, которые пришли вместе и затерялись в толпе, начали окликать друг друга. И там, и здесь раздавались встревоженные голоса:

– Ойах! Не правого ли это человека распяли?

– Он проповедовал истину! Ойах!

– Он воскрешал мёртвых!

Кто-то крикнул:

– Горе тебе, Иерусалим!

Другой голос отозвался:

– Земля затряслась!

Новый поток молний вырвался из глубины туч на подобие толпы огромных, огненных фигур. Голоса народа стихли или, вернее, затерялись среди свиста вихря, который с неслыханною яростью поднялся вдруг, начал срывать с людей одежды и разбрасывать их по равнине.

– Земля трясётся! – опять послышалось в толпе.

Одни бросились бежать, других страх приковал к месту, и они стояли остолбеневшие, без мысли, с одним только смутным сознанием, что свершилось что-то страшное.

Но мрак вдруг начал редеть. Вихрь гнал тучи, развивал и свивал их и разрывал вновь, как гнилые лоскутья. Свет усиливался всё более, наконец тёмная завеса туч разорвалась, сквозь образовавшуюся расщелину на землю хлынул поток солнечных лучей, и всё прояснилось: и пригорок, и кресты, и испуганные лица людей.

Глава Назарея низко поникла на грудь, бледная, словно восковая, глаза его были раскрыты, уста посинели.

– Умер! – шепнула Антея.

– Умер! – повторил вслед за ней Цинна.

В эту минуту центурион коснулся копьём бока умершего. Странное дело; вид солнца

и этой смерти, казалось, успокаивали толпу. Теперь она ближе придвинулась к месту казни, солдаты более уже не отгоняли её. Раздались голоса:

– Сойди с креста, сойди с креста!

Антея ещё раз взглянула на эту бледную, поникшую голову и проговорила тихо, точно про себя:

– Неужели Он воскреснет?

Она видела, как смерть наложила синие пятна на Его очи и уста, видела эти неестественно вытянутые руки, это неподвижное тело, которое всё опустилось книзу, и всё-таки её голос звучал отчаянным сомнением.

Не меньшее сомнение терзало и душу Цинны. Он также не верил, что Назарей воскреснет, но зато верил, что если б Он был жив, то только Он один мог бы свою добрую или злую силой исцелить Антею.

А толпа у креста всё более увеличивалась, голоса кричали всё с большею насмешкой:

– Сойди со креста, сойди со креста!

– Сойди, – с отчаянием, в глубине души, повторил Цинна, – исцели её и возьми мою душу!

Небо прояснилось. Горы были ещё окутаны мглой, но над Голгофой и городом не было ни одного облачка. Башня Антония ослепительно сверкала на солнце, как второе солнце. В освежившем воздухе носились сотни ласточек. Цинна сделал знак возвращаться домой.

Полдень давно уже миновал. Приближаясь к дому, Антея сказала:

– Геката не приходила сегодня.

И Цинна также думал об этом.

IX

Видение не появлялось и на следующий день. Больная была необыкновенно оживлена, потому что из Цезареи приехал Тимон, который сильно беспокоился о здоровье Антеи и, напуганный письмами Цинны, поспешно покинул Александрию, чтобы ещё раз перед смертью увидеть свою единственную дочь. В сердце Цинны вновь начала стучаться надежда, как бы прося впустить её, но Цинна не смел отворить двери этой гостье, не смел надеяться. В видениях, которые убивали Антею, уже бывали перерывы, – правда, не двухдневные, но однодневные случались и в Александрии, и в пустыне. Теперешнее облегчение Цинна приписывал прибытию Тимона и впечатлению, вынесенному с места казни, – впечатлению, настолько завладевшему душой больной, что она и с отцом не могла ни о чём другом разговаривать. Тимон слушал сосредоточенно, не возражал, раздумывал и только внимательно расспрашивал об учении Назарея, о котором Антея знала лишь то, что ей сообщил прокуратор.

Как бы то ни было, но вообще она чувствовала себя более здоровую, более сильную, а когда полдень прошёл и миновал благополучно, то в её глазах блеснул луч надежды. Несколько раз она назвала этот день счастливым и просила мужа записать

его.

А на самом деле день был печальный и мрачный. Из низких, однообразных туч всё время шёл дождь, сначала обильный, а потом мелкий, холодный, пронзительный. Только вечером небо прояснилось и огромный солнечный шар окрасил пурпуром и золотом тучи, серые каменистые пустыни, белый мрамор портиков загородных вилл и опустился в пучину далёкого Средиземного моря.

Зато на следующий день погода была удивительная. День обещал быть знойным, но утро было свежее, небо без малейшего облачка и земля так залита блеском лазури, что все предметы казались голубыми. Антея приказала вынести себя под любимое фиштакое дерево, чтобы с пригорка, на котором оно стояло, любоваться видом весёлой, голубой дали. Цинна и Тимон ни на шаг не отступали от носилок, следя за малейшим изменением лица больной. А в ней замечалось какое-то беспокойство ожидания, но не было ни следа того смертельного ужаса, который охватывал её обыкновенно перед приближением полудня. Теперь глаза её светились яснее, а щёки окрасились лёгким румянцем. Теперь и Цинна по временам позволял себе думать, что Антея может выздороветь, и при этой мысли ему то хотелось броситься на землю, дать волю радостному рыданию, благословлять богов, то снова его сердце сжималось при мысли, что это, может быть, только последняя вспышка гаснущей лампы. Желая подкрепить свою надежду, он по временам посматривал на Тимона, но и тому в голову, вероятно, приходили такие же мысли, потому что он старался избегать взгляда Цинны. Ни один из троих и словом не обмолвился, что полдень приближается. Зато Цинна, поминутно наблюдающий за тенью, с бьющимся сердцем замечал, что она становится всё короче и короче.

И сидели они, словно погружённые в задумчивость. Может быть наименее беспокойною была сама Антея. Лёжа в открытых носилках, с головою покоящаяся на пурпурной подушке, она с наслаждением вдыхала свежие испарения, которые ветерок приносил с запада, со стороны моря. Но около полудня и этот ветерок утих. Жара становилась всё сильнее. Пригретые солнцем кусты нарда начали испускать тяжёлое благоухание. Над группами анемонов порхали пёстрые мотыльки. Маленькие ящерицы, привыкшие и к этим носилкам, и к этим людям, безбоязненно выползали из расщелин, впрочем ни на минуту не покидая своей бдительности. Весь мир успокоился и отдыхал под влиянием света и тепла, под безоблачным кровом лазурного неба.

Тимон и Цинна, казалось, также тонули в безбрежно разлитом спокойствии. Больная смежила очи, как будто её осенил лёгкий сон, и молчание не нарушало ничто, за исключением тяжёлого вздоха, который от времени до времени вырывался из её груди.

А в это время Цинна заметил, что его тень утратила свою продолговатую форму и отвесно падает к его ногам.

Был полдень.

Вдруг Антея открыла глаза и промолвила каким-то странным голосом:

– Кай, дай мне руку!

Он вскочил и вся кровь его заледенела: приближалась минута страшных видений.

– Видишь ли ты, – продолжала Антея, – какой свет собирается там и скопляется в воздухе, как он дрожит, переливается и идёт ко мне?..

– Антея, не смотри туда! – крикнул Цинна.

Но, – о, чудо! – на лице её не было выражения ужаса. Раскрылись её уста, глаза смотрели ещё шире и какая-то безмерная радость начала озарять её лицо.

– Столб света приближается ко мне, – говорила она. – Я вижу! Это Он! Это Назарей!.. Он улыбается.. О, кроткий!.. О, милосердый!.. Пробитые руки протягивает ко мне, как мать.. Кай! Он приносит мне здоровье, избавление и призывает меня к себе.

А Цинна страшно побледнел и ответил:

– Если Он нас призывает, пойдём за Ним!

Час спустя, с другой стороны, на каменистой тропинке, ведущей в город, показался Понтий Пилат. Прежде чем он приблизился, по его лицу можно было видеть, что он приносит какую-то новость, которую, как человек рассудительный, считает за новый вымысел легионерной и тёмной толпы. И действительно, ещё издали он начал кричать, утирая влажный лоб:

– Представьте себе, что эти люди говорят, будто он воскрес!

Примечания

1 – Ты счастлив, Цинна! (лат.)